

От редактора

В феврале 1931 г. Владимир Набоков закончил первую редакцию нового романа под названием «Райская птица», охарактеризовав его в письме к матери как «чрезвычайно занимательный» роман «из немецкой жизни», в котором «много живописного и похабного». В конце мая 1931 г., значительно отойдя от изначального замысла и дав роману новое латинское название «Camera obscura», Набоков начал готовить его к публикации. В 1931–1932 гг. отрывки из романа печатались в газетах «Русский инвалид» (Париж), «Наш век» (Берлин) и «Последние новости» (Париж); в 1932–1933 гг. он был опубликован частями (без двух глав и с некоторыми сокращениями) в парижском журнале «Современные записки». Отдельным изданием, под названием «Камера обскура», роман был выпущен в 1933 г. берлинским издательством «Парабола» в сотрудничестве с «Современными записками».

Изменив имена героев, внося различные уточнения и дополнения, Набоков перевел роман на английский язык и опубликовал его в 1938 г. в американском издательстве «The Bobbs-Merrill Company» под названием «Laughter in the Dark» («Смех во тьме»).

Печатается по изданию 1933 г. с восстановлением двух выпавших фрагментов по тексту указанных газетных и журнальных публикаций.

I

Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо — существо теперь уже почти забытое, но в свое время, т. е. в течение трех-четырёх лет, бывшее вездесущим, — от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки, — существо, носившее симпатичное имя: Чееру*.

Рассказывают, что его (или вернее: ее) происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым — молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допу-

* От *англ.* cheer — писк (мышей, птенцов). (*Здесь и далее — прим. ред.*)

скает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, — но еще входит как бы в азарт — распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что, — сказал он Горну, — вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов; возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы этак вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». — «Не знаю, — ответил Горн, — они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн, в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога, — и в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло — очаровало, хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный крап, черный, ко-

фейный и золотой, а главное — неуловимое, прелестно-смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, — ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось: Чипи, держащая в лапках череп грызуна (с этикеткой: *Savia sobaja**) и восклицая «Бедный Йорик!»; Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику — ноги за голову (можно себе представить, сколь много достигли ее короткие задние лапки); Чипи стоя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, — причем вокруг валяются: ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма... Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях, — откалывала чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и т. д. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобию Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это

* Морская свинка (*лат.*).

он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить.

В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень, кажется, сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмой артистки Дорианны Карениной. Фирма личных кремов приобрела у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дорианна держала прижатой к голому своему плечу большущую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск.

Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь: о картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи, уже теперь тоже — увы! — нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконической надписью «Noli me tangere»*. «Он, видимо, любит своего зверя, — этот Горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Макс, добрейшему, тучному человеку, с угреватými складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» — спросил Макс. «Нет, конечно нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно

* Не прикасайся ко мне (*лат.*).

в Америке. А дело он выиграет, если доказать, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой». — «Какое дело?» — спросила Аннелиза, жена Кречмара.

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось, — жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных, тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: «Ах да, я уже вспомнила». — «Не так быстро, мое дитя, не так быстро», — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» — начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема... Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки...»

Было это и впрямь невероятно, — особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, — по крайней мере действительно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, уничтожить...» Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

II

Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих, выпуклых глаз, — несмотря также на умение образно говорить (он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть), несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гомбурге — молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером, в ответ на любовные увещевания, вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите сейчас покажу, если

не верите». — «Не надо, зачем же», — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине была некрасивая, навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: «C'est la vie»*. Между этими довольно неудачными, вялыми романами, и во время них, были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты.

Он женился, — не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный: это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице, — кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился потому, что как-то так вышло, — чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе наконец ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Аннелизе, так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских

* Такова жизнь (*фр.*).

знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам — след аппендицита.

Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную, безвыходную нежность, заботился о ней, — чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, — а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые венеры и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню.

Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному, белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных, шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец, из ее палаты вышел ассистент и угрюмо